



ВЕРА МЕЛЬНИКОВА

ПОНЧИКИ ПОД ТОПОЛЕМ

ФРАГМЕНТЫ ОДНОГО ДЕТСТВА

Вера Мельникова

**Пончики под топодем.
фрагменты одного детства**

«Издательские решения»

Мельникова В.

Пончики под тополем. фрагменты одного детства /
В. Мельникова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749958-7

Автобиографическая книга о детстве. Детство принято называть «счастливой порой»... Нет, пожалуй, моё детство не заслуживает такого восторженного отзыва, но я не хочу его забывать: оно МОЁ! Более того — я боюсь его забыть. Всё, что удалось восстановить в памяти (накануне сорокалетия), я объединила в 55 отдельных рассказов, иногда весёлых, иногда грустных, но всегда абсолютно правдивых.

ISBN 978-5-44-749958-7

© Мельникова В.
© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Пончики под тополем	7
Дедушкино дерево	9
Красные носы	11
Фазаны Октябрьской улицы	13
Дом баронессы Корф	16
Улица Сайкина	18
Ещё об одуванчиках	21
Универмаг «Марьинский»	22
Однажды меня крестили	24
Казённая манная каша	27
Новый год – семейный праздник?	32
Кукла Роза	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

**Пончики под тополем
фрагменты одного детства
Вера Мельникова**

© Вера Мельникова, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Мой многолетний конфликт с жизнью заставил меня накануне сорокалетия мысленно вернуться на линию старта – в моё детство. Я была уверена: стоит мне пережить ещё разок эти серые пресные – как диетический хлеб – детские годы и я смогу чудесным образом реанимировать себя-сегодняшнюю.

Я купила несколько толстых общих тетрадей (самых толстых, которые только нашла в магазине!) и уехала на год в деревню – вынимать из себя-взрослой себя-маленькую...

Вспоминание – процесс парадоксальный. Тончайшая ниточка незначительных – в первом приближении – событий иногда уводила меня на ТАКИЕ глубины!.. Мои выводы приравнивались, без ложной скромности, прямо-таки к сенсационным психологическим открытиям «в области собственной персоны». Я периодически громко сообщала своему верному псу: «Вот как оно было на самом деле-то!.. Вот почему я теперь...» А значительные события жизни, которые всегда оставались на поверхности памяти, за которыми не нужно было «глубоко и надолго» нырять, так и остались рядовыми происшествиями, «без выводов», без моих восклицаний.

Финал работы меня немало удивил. Ожидаемого выздоровления (себя от себя) не произошло, моё детство, казавшееся мне безвкусным кирпичиком «Докторского», в праздничный пирог не превратилось, но на моём маленьком письменном столе у старинной печки родилось 55 самостоятельных рассказов о моей детской Москве, о летних каникулах на даче за Истрой, о семейных праздниках, о моей школе на улице Достоевского, о сверстниках и взрослых людях, которые меня тогда окружали...

И пришло окончательное понимание того, что каким бы ни был этот старт, радостным или печальным, шанс на другой никому, никогда, ни за какие заслуги или страдания не даётся. Поэтому моя книга, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, вовсе НЕ ЖАЛОБНАЯ КНИГА, а КНИГА О ДЕТСТВЕ.

А в детстве, как известно, и трава зеленее, и солнце ярче, и тучи над головой очень временные и не такие чёрные. А главное – впереди долгая счастливая жизнь, полная удивительных приключений, прекрасных друзей и круглосуточной свободы.

Итак...

Пончики под тополем

На внутренней стороне Сущёвского вала (дедушка по старинке называл его Камер-Коллежским), если идти от «Марьинского» Мосторга в сторону «Минаевского» рынка, до 1989 года стояла небольшая белая будочка «Пончики под тополем». Название было написано на фанерке над крышей – от руки, крупно, размашисто, красной краской. Внутри белой будочки творились чудеса: две полных тётеньки в белых халатах и белых поварских шапочках время от времени закидывали в кипящее подсолнечное масло пончики. «Русские» пончики были тогда стандартной формы – бублики.

Палатка была мала – и одному-то не развернуться! А тут ещё сумасшедший жар от чана с маслом: тётеньки были вечно с брусничными щеками и с потными лбами.

На внутренней полочке, под самым окошком, были установлены большие железные весы с гирьками и бегающей стрелкой: стрелка оказывалась как раз под самым носом у покупателя. Тётеньки ловко скручивали из грубой обёрточной бумаги надёжный кулёк, устраивали кулёк на чаше весов, закидывали туда адски горячие пончики и посыпали весь объём – по желанию едока – сахарной пудрой.

В конце операции они как-то очень лихо загибали верхний выступающий угол кулька, как загибают угол пелёнки, когда хотят уберечь младенца от «дурного глаза».

Тётеньки протягивали покупателю «укутанные» пончики с напором акушерок, «возвращающих» молодой матери в день выписки из родильного дома её младенца – уверенно и как бы окончательно («Принимай же!»).

А принять в первую секунду было страшно: горячее «пончиковое» масло моментально расписывало кулёк жирными пятнами. Салфетки в придачу к пончикам, кажется, полагались, но толку от них совершенно не было. Пакеты-майки, так принятые сейчас, в те годы в магазинах отсутствовали, были только крафт и иногда вощёная бумага («восковка»).

Вся подлость заключалась ещё и в том, что поесть эти пончики нужно было без промедления: во-первых, остывая, они теряли свой аромат, а во-вторых, пудра таяла, и пончик, взятый из кулька с опозданием, переставал радовать едока своим нарядным белым боком. Конечно, на вкус это сильно не влияло, но пончик без пудры выглядел не так желанно.

Я сейчас думаю, что вся «соль» пончика была именно в сахаре, которым его щедро посыпали.

К сожалению, пончики пеклись по какому-то особому графику, известному одним тётенькам в белых халатах. Думаю, это зависело от подвоза готового теста или перемены масла в котле для жарки. Прохожий не мог быть торжественно одарен заветным кульком всякий раз, когда проходил мимо: процесс выпечки надо было «ловить». Я, маленькая, не очень могла сообразить, когда это нужно делать, поэтому покупала эти пончики не так часто, как хотелось.

Были дни, когда белая палатка не работала вовсе.

Но помимо самих пончиков было ещё кое-что выдающееся в этой точке моей детской Москвы: огромный тополь, закрывающий маленькую палатку своей кроной. Он рос на пять шагов дальше и левее палатки. Ветви его никогда не подрезали. Ствол тополя был необъятен. Я не знаю, сколько ему было лет, но он вполне мог «помнить Наполеона», как выражался мой дедушка.

Казалось, что корни Великого Тополя уходили под Сущёвский вал, стремясь прощупать почву Марьиной Рощи.

Дерево настолько возвышалось над городским пейзажем, что дало название пончикам – не просто пончики, а «Пончики под тополем».

А потом случилась беда – они оба сгорели, Тополь и Палатка. Причина мне не известна. Палатку могли поджечь хулиганы и огонь перекинулся на дерево естественным образом. Могло быть наоборот – молния ударила в ствол дерева. Или элементарное короткое замыкание внутри палатки...

Почти год после пожара два друга стояли обугленными, как огромные чёрные головешки из печи. Никто не собирался восстанавливать палатку и срубить сгоревшее дерево.

Потом исчез «Минаевский» рынок, освободившееся место стали активно застраивать, вчерашние газоны и небольшие пустыри оказались под асфальтом; Сущёвский вал превратился в Третье транспортное кольцо...

Я сейчас не уверена, смогу ли я точно определить то место, где когда-то возвышался тополь – настолько всё вокруг изменилось. К сожалению, своей близостью к проезжей части, «Пончики под тополем» в любом случае попали бы со временем под снос.

Конечно, в других местах Москвы тоже пекли аналогичные пончики, но мне казалось, что «наши» – самые вкусные, потому что другим не хватало... тополя. А без тополя совсем не то настроение у покупателя!

Дедушкино дерево

Мой дедулька, Виктор Никанорович Морозов, добрейшей души человек, всю свою жизнь прослужил на авиационном заводе на улице Образцова, пройдя классический путь от четырнадцатилетнего подмастерья до самого главного седовласого мастера самого главного цеха.

Завод этот был удобно расположен: на полпути от моей школы на улице Достоевского до нашей кирпичной пятиэтажки на улице Октябрьской. Когда я училась в начальных классах, время окончания моих уроков совпадало с началом обеденного перерыва у деда. Я «захватывала» дедушку с работы, и мы вместе шли домой обедать (обед готовила бабушка, она всю жизнь оставалась домохозяйкой).

На завод, конечно, меня не пускали: там была специальная проходная с гигантскими, как мне казалось, турникетами. Над турникетами возвышалась серая железная будка дежурного. Я имела право находиться только на маленьком пятачке перед турникетами: завод был военный. Не было даже никакого холла или коридора, где можно было бы спокойно сесть и подождать.

Эти турникеты меня ужасно пугали: мне казалось, что своими железными клешнями они могут меня переместить «по ту сторону жизни», а «там» меня схватят незнакомые люди и затолкают в потайную комнату, из которой я никогда не выберусь.

Страшнее этих клешней были красные и зелёные кнопочки-огоньки на каждом турникете, которые добавляли хищности этой инопланетной – для меня – конструкции. Кнопочки время от времени мигали. Это означало: турникеты были живым существом, способным на самостоятельные действия... Я предпочитала к нему не приближаться.

Однако, если был сильный ветер или мороз, я вынуждена была в ожидании деда «стоять и бояться» на этом самом пятачке. Многие служащие, включая дежурного в серой будке, улыбались мне и говорили, проходя мимо: «К Морозову внучка пришла». Как будто не я была этой внучкой!

Ещё одной неприятностью было то, что я не всегда могла самостоятельно открыть деревянные заводские двери: они были очень высокими и немыслимо тяжёлыми, с массивнейшими латунными ручками. Двери эти до сих пор на месте, хотя в середине 90-ых годов завод перепрофилировали, дедушка там уже не служил.

Если погода была приемлемой, я предпочитала оставаться на улице, через дорогу от завода, под старым раскидистым тополем. Я топталась вокруг него до тех пор, пока из заводских дверей не показывался мой дедушка. Он шёл ко мне навстречу, через трамвайные пути, немного наискосок, всегда с улыбкой. Перед этим он махал мне рукой от заводских дверей и кричал «Веруша!».

Я настолько хорошо помню деда, идущего ко мне, его лицо, его одежду, что готова нарисовать хоть сейчас!

Среди своих сослуживцев дедушка получил статус деда самым первым, но он, по-моему, никогда не переставал удивляться и радоваться тому, что у него есть внучка. За год до своей смерти он показывал мне свёрнутый в трубку пожелтевший лист ватмана, который он хранил в кладовой комнате на Октябрьской улице. На ватмане было написано: «ПРИВЕТСТВУЕМ МОЛОДОГО ДЕДА!». Так коллеги по заводскому цеху встретили моего дедушку 18 апреля 1975 года.

Дедушка развернул передо мной этот ватман и засмеялся, и заплакал одновременно. Мне тогда было 35 лет...

Мне запомнился один майский день. Я должна была ждать деда как обычно, под тополем. Я училась в первом или втором классе. В последних числах мая никакой учёбы у малышей уже,

конечно, не было. Мы сидели и рисовали какую-то ерунду, а с последнего урока нас вообще решили отпустить. Наручных часов нам тогда не полагалось: просто не было принято покупать маленьким детям часы. Во времени, таким образом, я не ориентировалась. Собственно, у меня не было в этом большой потребности: ни в каких кружках или секциях я не занималась, после школы я стабильно шла домой и находилась там с бабушкой, сидя над уроками или перед телевизором.

И вот, я выхожу из школы на 45 минут раньше обычного и уверенным шагом по хорошо известному маршруту устремляюсь к дедушкиному заводу.

Через три минуты я стою под нужным тополем. Я начинаю ждать моего дедушку. Его всё нет и нет. Я чувствую, что что-то не так в пространстве: двери завода «молчат», улица Образцова совершенно пуста.

Мне и в голову не пришло, что дедушку никто не собирался «отпускать с последнего урока». Я была уверена, что если Я – уже – под тополем, то и он, соответственно, должен немедленно туда подойти, по-другому и быть не может.

Я прождала почти пятьдесят минут: для восьмилетнего ребёнка это целая вечность. Я обошла тополь кругом раз, наверное, сто, перепачкав мои белые парадные туфельки и белые ажурные гольфы (на мне был ещё белый фартук и белые банты – в честь окончания учебного года). Я ужасно злилась на деда, прямо-таки сжимала кулачки...

Вскоре я была готова расплакаться от досады: где же мой дедушка?!.

И вот, наконец, появился ОН: в летних коричневых брюках, в белой рубашке в коричневый ромбик, в коричневых кожаных сандалиях, которые он носил, по-моему, всю жизнь. Он, радостный, даже какой-то светящийся от радости, переходит трамвайные пути, улыбается мне, раскрывает объятия, а я... набрасываюсь на него с восьмилетними кулачками и кричу сквозь слёзы: «Я тебя столько ждала!!».

Дедушка тогда только пожал плечами и удивлённо вскинул брови: он не мог понять мою реакцию, а я не могла толково объяснить, что нас отпустили из школы раньше положенного.

Мы пошли домой. Обида моя долго не проходила. Ещё, помню, ныли ноги от долгого топтания на одном месте под деревом. По-моему, только за обедом, при вмешательстве бабушки, случившееся нашло логическое объяснение.

Несколько лет назад я проходила по улице Образцова, заезжая в этот район Москвы по какому-то делу. Моего замечательного дедушки тогда уже не было в живых. Проходя мимо завода, по противоположной стороне узкой улицы, я почувствовала, что чего-то не хватает в пейзаже. Были и трамвайные пути, и институт МИИТ, и жёлтый панельный дом напротив завода...

Не хватало того самого тополя, нашего!.. Помню, я очень болезненно отреагировала на гибель тополя. «Ну вот, ни деда, ни дерева не осталось,» – сказала я вслух.

Я теперь избегаю этой улицы Образцова, там ничего не осталось... от меня.

Красные носы

Со мной в детстве очень мало гуляли.

Дедушка служил на заводе.

Бабушка, имея проблемы с тазобедренным суставом на одной ноге после рождения моей матери, передвигаться, конечно, могла, но стеснялась ходить по Москве с палочкой; не стеснялась только летом на даче.

Мама была весь день на работе. Жила она отдельно от меня, мы виделись коротко по вечерам, два-три раза в неделю, и на выходных. Увы, участие мамы в моей детской жизни было настолько отрывочным, что я не запомнила её совершенно. Я имела возможность проводить с ней целиком только один день в неделю – субботу. Думаю, что именно по причине этой маминой «редкости» рядом, наш тактильный контакт с ней был сведён до минимума. (До сих пор моё взаимодействие с мамой возможно только в форме устной беседы по разные стороны стола; к сожалению, я постоянно ощущаю какую-то физическую чуждость с ней).

До того момента, пока меня не определили в заводской детский садик (худшие воспоминания моей жизни!), где ежедневные прогулки перед обедом были обязательны, весь день до вечернего прихода деда или мамы я сидела в четырёх стенах.

Вечером же бабушка канючила: «Погуляйте с Верушей!»

Я представляю сейчас, как тяжело было маме и деду после полного трудового дня выходить на прогулку с маленьким ребёнком. Маме после этого нужно было ещё возвращаться домой на улицу Сайкина (позже – на Ясный проезд).

Никуда далеко они, конечно, пойти со мной не могли. Так, немножко, вокруг нашей пятиэтажки. Максимум – в парк Советской Армии. Современного обилия детских площадок даже в Москве тогда не было. Если в каком-то дворе были качели – это уже было огромной радостью для детворы. Песочница и крашенные железные лесенки – вот и всё «оснащение». Иногда попадались убогие карусели. (На одной из таких каруселей, уже в детском саду, меня однажды так раскрутили, против моей воли, что к горлу подступила неизбежная рвота).

Помню, был тёмный зимний вечер. Дедушка вернулся с работы. Бабушка упросила его после ужина пойти со мной погулять «непреренно к красным носам». Это что-то новенькое! Я была заинтригована. Бабушка-то знала, о чём она просила деда; мне же этот адрес тогда ни о чём не говорил.

И вот, мы выходим из подъезда, переходим Трифоновскую улицу и сразу же ныряем в тёмную подворотню. Внутри – «трущобы» небольшой пекарни. Здесь делают овсяное печенье и укладывают «столбиком» в узкие картонные коробочки. Во всех магазинах Москвы продаётся овсяное печенье только одного вида – вот именно такого, которое выпекают в нашей подворотне на нашей Трифоновской улице.

Так мне, маленькой, казалось!

Я сейчас понимаю, что наша крохотная пекарня не могла, по определению, обеспечить всю Москву овсяным печеньем, поэтому точно такое же печенье делали, наверное, на всех хлебозаводах города. Мне просто очень хотелось гордиться нашей улицей, хотелось, чтобы она была чем-то знаменита. Ведь и я, жившая здесь, автоматически получала «кусочек славы».

Периодически из подворотни выплёрскивался на прохожих дурманящий запах сладкой выпечки: в те времена в казённом овсяном печенье были только натуральные пряности.

Мы минуем пекарню, углубляясь дальше в лабиринт внутреннего двора. Через минуту нам неожиданно открывается просторный двор с песочницей под снегом и ржавыми качелями. Вход во двор как бы охраняют... Красные Носы!

Ах, вот в чём тайна: два хоккеиста, герои старого мультфильма, с клюшками, в спортивных костюмах, встречают детей и родителей. Хоккеисты вырезаны из больших листов фанеры и довольно хорошо раскрашены масляной краской: носы у них действительно красные, а хоккейная форма – синяя, с поперечной белой полосой в районе фанерной груди.

На улице в тот вечер страшно мело, снега было по колено, очень холодно. По-моему, дедушка говорил, что и у меня стал нос такого же цвета, как у фанерных хоккеистов.

Ничего с этими плоскими хоккеистами нельзя было сделать, то есть приспособить их как-то под игру было невозможно, разве что – смотреть на них. Вот мы стояли и смотрели. Дедушка при этом изображал огромную радость от встречи с фанерными спортсменами, как-то особенно выделяя голосом слово «красные». Он как будто каркал это слово.

В молодости дед был заядлым хоккеистом, о чём я тогда знать не могла.

Собственно, больше ничего от этой прогулки я не помню. Мне кажется, я просила ещё несколько раз провести меня к Красным Носам – просто так, чтобы поздороваться с моими новыми «знакомыми». А вот ходили мы или нет – в памяти не осталось.

Будучи самостоятельной школьницей, я как-то случайно коснулась в моей одиночной прогулке этого тихого двора: Красные Носы, немного облезшие, всё ещё встречали меня там, в полном обмундировании. Как же долго они украшали тот двор!

Запах горячего овсяного печенья вскоре исчез. Всю подворотню перегородили чёрными железными воротами: они были здесь и раньше, но их не закрывали. Известный винный магазин на пересечении Трифононской и Октябрьской улиц (подворотня была именно под этим угловым домом) был переделан раз и навсегда в небольшой выставочный зал. В последней трети восьмидесятых там открыли выставку, посвящённую... инопланетянам: рисунки инопланетян, в фас и профиль.

Я была на этой выставке со своей одноклассницей Машей Бадиковской. В те годы тема НЛО была очень модной...

Сейчас думаю: какой же бред, все эти инопланетяне, а люди ещё деньги за входной билет на выставку платили. Мои Красные Носы были несравненно лучше.

Фазаны Октябрьской улицы

Мой детский сад «Искорка» находился в тупике на улице Советской Армии. Я не помню, было ли у тупика собственное имя, но до тех пор, пока не проложили эту улицу, тупик был естественным продолжением старинного Октябрьского (бывшего Александровского) переуллка и Огородного проезда.

Справа по тупику было расположено два здания – спортивная школа и мой детский сад; слева был детский «сад-пятидневка». Других зданий в тупике не было.

«Пятидневка» казалась мне страшнейшим местом: одноэтажное мрачное здание из красного кирпича годов, наверное, пятидесятых, если вообще не довоенных. Оно стояло на небольшом естественном возвышении; вокруг – решётка на кирпичном цоколе.

Однажды вечером, после моего «рабочего дня» в детском саду, мама ведёт меня на Октябрьскую сдавать бабушке, а из-за этой решётки несколько детей, моих ровесников, тянут проходим маленькие бледные ручки; другие же зажали в кулачках прутья решётки и молча смотрят сверху на пёструю толпу детей и родителей, идущих домой.

Мама объясняет, что за этой решёткой особенный детский сад: здесь родители забирают детей домой только по выходным.

Я не осознала слова мамы, но меня, помню, моментально охватил какой-то животный ужас и безмерная жалость к этим детям: зачем они тянут руки? они хотят к мамам? домой? Если тянут руки, значит, им должно быть очень плохо! А знают ли их мамы, насколько им здесь плохо?!

Мне кажется, вид у моей мамы был при этом равнодушный, а меня – несмотря на моё малолетство и «непонимание жизни» – как молнией пронзило при виде этих малышек за решёткой. Мама сказала, что и я при каких-то обстоятельствах (эх, вспомнить бы при каких!) могу оказаться среди этих детей.

Ещё у меня тогда возник вопрос, который я не рискнула задать маме: сажают ли маленьких детей в тюрьмы? Естественно, про тридцать седьмой год и про концентрационные немецкие лагеря я знать не могла (мама, я думаю, в то время тоже не владела вполне такой информацией). Но мой ужас при виде детей в неволе – он со мной с того самого дня до сих пор.

К счастью, больше я с этими детьми не встречалась.

Как правило, забирал меня из детского сада дедушка; мама, вероятно, не успевала с работы к шести часам. Часто дедушка не вёл меня домой сразу. Он делал со мной небольшой круг через живописную студию имени Грекова, через театр Советской Армии, заходя на нашу Октябрьскую улицу с её южного конца.

Путь домой был намного короче, но, как я сейчас понимаю, дедушка пользовался случаем, чтобы... оказаться дома на час позже, при этом не вызвав гнев у бабушки. Прогулка со мной была отличным прикрытием.

Они не жили дружно, душа в душу. Дед, красивый, совсем ещё не старый и очень милый человек, был абсолютно поработён бабушкой ещё до их свадьбы. Позже, уже откровенно изнашиваемая под гнётом бабушкиной властной натуры, он не мог оставить жену: бабушка стала инвалидом именно после рождения их общей дочери. Дед опасался, что коллеги по заводу, где он уже занимал определённый пост, и соседи по даче осудят этот поступок. Дед предпочитал молча съедать (во всех смыслах) всё то, что давала ему бабушка. Осмелился он заговорить только за год до смерти.

– Я давно заметил, Валерия, что ты ко мне плохо относишься, – сказал он спокойно, стоя на пороге её комнаты.

– Виктор, не пори чушь! – крикнула бабушка ему в ответ, немедленно отвернувшись к голубому экрану телевизора, где шла её любимая передача о пользе народной медицины.

Дед молча развернулся и ушёл в своё кресло, к своему телевизору.

Благородство деда делало ему честь, бесспорно. Но лучше бы он подумал хоть раз в жизни о себе: он вполне мог найти счастье и понимание в лице другой женщины, пусть во второй половине своей жизни. Нашу же семью его благородство не спасло! Мне сейчас кажется, что случись подобные перемены в личной жизни деда – и мне, и маме, и, вероятно, даже бабушке это принесло бы... иной вариант развития и нашего будущего. Правда, благоприятный ли?..

Прогулки со мной (это я сейчас понимаю) давали дедушке драгоценный час наедине со своими горькими размышлениями. Увы, возвращение домой было неизбежным.

В самом начале Октябрьской улицы, на её плавном повороте (петле) к улице Советской Армии, стоял полукругом так называемый Армянский дом. Дом был построен в начале 20-ого века в стиле модерн. (Я ни о чём таком не знала в свои пять-шесть лет, я как следует изучила фасад дома уже будучи взрослой и начитанной барышней). Модерн коснулся этого дома как бы вскользь, чуть-чуть: никаких характерных «архитектурных излишеств» (по выражению бабушки) на фасаде дома не было. Но бабушка как-то сказала, что его ремонтировали, перестраивали, надстраивали ещё во времена её молодости – тогда, наверное, весь модерн и снесли.

Дом строился как доходный. Таким он, вероятно, и оставался до 1917 года. По словам бабушки, здесь всегда жили армяне.

На первом этаже неизменно было помещение под ресторан или магазин, верхние этажи – жилые. Был ещё благоустроенный подвал, где тоже в своё время жили люди. Бабушка говорила так: «Сколько себя помню, в этом доме всегда жили дворники с семьями.» Но «старинные» московские дворники традиционно были татарами. Почему дом получил прозвище Армянского – бабушка объяснить не могла.

Как бы то ни было, армянский ресторан на первом этаже функционировал и во времена моего детства. Не помню, чтобы на фасаде была какая-то «громкая» вывеска. Это могло быть просто питейное заведение «для своих» в подвальной части дома, со входом со стороны двора. Но я прекрасно помню огромную кованую клетку в форме шатра во дворе этого полукруглого дома. Внутри клетки вместо Шамаханской царицы (облик восточной красавицы так соответствовал, по моему мнению, «дизайну» клетки) сидел «жертвенный» фазан для кухни армянского ресторана.

Дедушка говорил, что нет ничего удивительного в наличии здесь этой клетки-шатра и птицы внутри: при некоторых ресторанах раньше держали фазанов, так было принято.

Позднее фазаны были заменены на обычных кур.

Кур сменили румяные повара армянского ресторана, которые курили в этой беседке на низких скамеечках в рабочие перерывы.

Поваров сменили пожилые игроки в домино.

Доминошников – непонятного назначения деревянные и картонные «останки», которые складировались внутри клетки, запираясь на висячий замок.

Сам ресторан превращался из «потайного» в «явный» и обратно, меняя названия и хозяев. У «явного» был в какой-то год красиво оформлен вход со стороны Октябрьской улицы; по-моему, у входа даже стоял охранник. Вечерняя публика подъезжала на очень приличных автомобилях.

Клетку-шатёр окончательно ликвидировали только в 2008 году при благоустройстве двора: скучный газон и вымощенные серой тротуарной плиткой дорожки заняли всё пространство за Армянским домом.

«Вокруг» нашей Октябрьской улицы процент армянского населения всегда был и остаётся очень высоким. Так сложилось исторически. В параллельном классе учился красивый Гагик Аракелян, выходец из большой армянской диаспоры соседней Самотёки, которая закрепилась в Москве более ста лет назад. Никто не говорил про них «Понаехали!..»: они были уже в большей степени москвичи, чем, допустим, родители моего деда, приехавшие в Москву на заработки в тридцатых годах из-под Тулы.

На задворках моего детского сада «Искорка», на огромном пустыре, возникшем при строительстве спорткомплекса «Олимпийский», два года назад армяне завершили строительство гигантского кафедрального собора, СВОЕГО...

Сейчас-то я прекрасно понимаю, что Москва всегда была многоликим городом в смысле национальностей, в ней представленных, но тогда, в детстве, мы никак для себя эти национальности не выделяли: все были русские и все москвичи.

Кстати, мои дедушка и бабушка, как это смешно ни звучит, не могли чётко определиться со своей национальностью. Вероятно, отец деда был украинец, а деда бабушки (по отцовской линии) в их старом московском дворе все называли цыганом за его чрезмерную «чернявость». Так что, моя «окончательная» национальность остаётся для меня вопросом. Да, по паспорту я – русская, но по бабушкиной линии я – москвичка в пятом поколении, а значит, я вполне могу оказаться и потомственной Шамаханской царицей.

А такое в паспорте не напишут.

Дом баронессы Корф

Если выйти из ворот моей школы на улице Достоевского и повернуть налево, к площади Борьбы, то взгляд почти тут же упрётся в красивый жёлтый дом. Дом каменный, высокий, с белыми архитектурными излишествами, «разбросанными» по фасаду. Дедушка говорил: «Это дом Корф». Кто такой Корф – не пояснял. Или отделялся словом «фабрикант». Это вполне могло соответствовать действительности: традиционно крупные фабриканты и купцы вкладывали свои средства в постройку доходных домов. А этот дом был именно доходным.

Уже будучи студенткой географического факультета (у нас был предмет краеведение), я узнала, что Корф был... баронессой. Но кем «приходилась» этому дому баронесса Корф, ни в одной книге чётко сказано не было. Владелицей? Совладелицей? Или прославленная (чем-то) баронесса просто снимала в этом доме одну из просторных квартир?..

Совсем недавно выяснилось, что баронесса жила в небольшом отдельном флигеле во дворе этого дома. За этим флигелем был большой старинный сад, принадлежавший баронессе Корф, где паслись козы... баронессы Корф. А почему весь дом был «её имени» – я так и не знаю.

А её ли вообще? Он – Корф, она – тоже Корф... Иностранные фамилии, как правило, по родам не склоняются.

На первом этаже этого дома много-много лет существовала маленькая булочная, которая неизбежно забирала у меня весь интерес, стоило мне, выходя из школы, повернуть не направо (так тоже можно было выйти к Октябрьской улице), а налево, к жёлтому дому над площадью Борьбы.

Пол булочной был выложен кафельной плиткой. По-моему, по центру небольшого помещения стояла колонна. В любом случае движение осуществлялось как будто по кругу, против часовой стрелки: вход – справа, далее – наклонные стеллажи с хлебными лотками, левее – касса и выход. Этому круговому движению способствовало и «природное» положение булочной в недрах дома – на изломе. Одно окно булочной выходило на улицу Образцова, другое – на сквер площади Борьбы. Окна, как и потолки, казались бесконечными по высоте. Кажется, потолок был голубой...

Как жаль, что я не запомнила хорошенько «внутренности» булочной, ведь это помещение служило магазином с самого момента постройки дома.

Не запомнила потому, что не туда смотрела! Моё внимание было сосредоточено на двух видах булочек, продававшихся в доме: рогалики за пять копеек и круглые плюшки со шлепком повидла посередине – за двенадцать (если я ничего не путаю в ценах). Название этих плюшек я не помню. По-моему, что-то созвучное с тортом «Вацлавский». Может, «Выборгские»?

Сейчас я редко-редко вижу их в продаже в хлебных палатках разных городов, но современное их название не похоже на то, «детское». Да и по вкусу, конечно, те были в сто раз желаннее! А вот рогалики канули в Лету ещё в начале 90-ых.

Тесто у этих рогаликов было «хитрым» по консистенции: не слоёное, не «простое» сдобное, не песочное. Сейчас могу сказать одно: тесто точно было дрожжевым и с большим количеством сливочного масла. Вероятно, его ещё и каким-то особым образом заквашивали. Бабушка любила разогревать эти волшебные рогалики на сковородке, обязательно на сливочном масле: рогалики подсыхали снаружи и удивительно хрустели, а сердцевина оставалась мягкой.

Понятия «круассан» в моём детстве не было (я-то знала, что круассаны существуют в природе: я же училась во французской спецшколе, а «круассан и Франция... едины»). Но те рогалики из маленькой булочной абсолютно точно не имели ничего общего с французской национальной выпечкой – слоёными круассанами.

Три года назад в Орехово-Зуево мне попался очень похожий по виду рогалик – «Рожок Новый». Вкус его, конечно, оставлял желать лучшего, несмотря на его абсолютную свежесть и удовлетворительный внешний вид. Но, занятно: сдоба «на спиле» была совершенно такой же, «как у баронессы Корф» – не бесформенно-рыхлой (как у «простой» сдобы), а расположенной какими-то особыми кольцевыми структурами.

В «моей» булочной эти выдающиеся рогалики попадались редко. Скорее всего, их просто довольно быстро раскупали. К тому моменту, когда заканчивались мои уроки, хлебные лотки были уже пусты.

Булочки же «Вацлавские» (или «Выборгские») я могла купить ещё реже: то не было булочек, то у меня не хватало денег. Но они были восхитительны! Особенно – присыпка сверху, вокруг «месторождения» сливового или яблочного повидла. По-моему, именно за эту хрустящую жестковатую присыпку из комочков сладкого песочного теста я обожала эти булочки.

Бабушка противилась моим посещениям старинной булочной: «Ребёнок не должен перебивать аппетит перед обедом кусками». Но бабушкины обеды были хоть и питательными, но скучными, а покупка любимой булочки – приключением для семи-восьмилетнего ребёнка. Тем более, что ела я её на ходу, по дороге домой, что тоже было событием в некотором роде. «Уличные» булочки почему-то вкуснее!

К тому же, это был некий акт проявления самостоятельности: я могу зайти в магазин без взрослых, что-то сама выбрать, оплатить в кассе и съесть по дороге – без комментариев бабушки, откусывая и пережёвывая так, как только Я хочу. И никто мне не может сказать «под руку», что я делаю что-то неправильно!

Дом баронессы Корф в самом начале 90-ых выселили, обнесли хилым деревянным забором (синим – как сейчас помню) и стали капитально ремонтировать. Мы с одноклассниками залезли однажды внутрь. Там совершенно ничего не оставалось – только внешние несущие стены и ржавые железные балки-перекрытия. Со стен свисали обрывки обоев с подклеенными под них жёлтыми послевоенными газетами. На одной стене мне попалась почти целая статья о Великом Сталине, Вожде народов.

Терпящий крушение дом внутри был настолько гол, что походил на огромную пустую коробку без крышки. Кроме первого этажа, «дна», обследовать больше было нечего.

Мы, в итоге, перестали туда лазить – неинтересно.

Дом ремонтировали очень долго. К моему удивлению это был не просто ремонт, а настоящая реставрация: дому вернули его исторический облик со всеми архитектурными излишествами на фасаде. Булочную, к сожалению, возвращать не сочли нужным. Там сейчас офис.

Прямо так и хочется добавить – «баронессы Корф»!

Звучало бы громко...

В этом доме, в двух комнатах коммунальной квартиры, писатель Давид Самойлов провёл своё детство и юность. В его «Памятных записках» дому посвящена объёмная глава. Воспоминания Самойлова, относящиеся к тридцатым годам, каким-то мистическим образом слились теперь в моём воображении с собственными воспоминаниями, начала восьмидесятых, стали как бы их частью.

В «доме баронессы Корф» жила девочка из соседней параллели – Зарецкая Ира, отличница с самой длинной в школе русой косой. Все дразнили её «Заира». Это прозвище, созвучное с восточным женским именем, так не соответствовало её типичной славянской внешности.

Улица Сайкина

Этот адрес положил начало моей кочевой жизни. Там мой папа Павел (оказавшийся в последствии отчимом, а не родным отцом) имел большую комнату в коммунальной квартире. Номера дома я никогда не знала, но внешне дом помню очень хорошо: каждый раз, когда на зелёной ветке метро поезд вылетает наружу между станциями «Автозаводская» и «Коломенская», этот старый «сталинский» дом хорошо виден из окон поезда.

Мама, раз и навсегда оставив меня, годовалую, на попечение своих родителей на Октябрьской улице, сбежала от нравочений и самодурства своей матери именно сюда, к Павлуше. По выходным, на одну ночь, она и меня привозила на улицу Сайкина.

Ничего хорошего о своём пребывании здесь я вспомнить не могу. Помимо моих родителей в квартире проживало ещё две семьи, в таких же больших, как у нас, комнатах, с высоченными потолками. У нас было самое неприятное расположение комнаты: единственное наше окно выходило на шумную улицу, у других же – в относительно тихий двор. Уже тогда, в конце семидесятых, улица Сайкина была настолько загружена транспортом (по сравнению, скажем, с родной Октябрьской), что при открытых окнах мы не слышали работающего на полную громкость телевизора.

Помню огромную общую кухню. Мама тогда показала на кухонный стол слева от входа и сказала, что этот стол – наш. Но на этой общей кухне никто не обедал, только готовили еду, а потом со своими кастрюльками и сковородками расходились по комнатам трапезничать. У нас в комнате стоял чёрный полированный обеденный стол с большой белой салфеткой-скатертью.

Однажды на кухне я увидела на чьём-то столе обилие арбузных корок. Их собирали на цукаты.

Помню ванную комнату. Ржавые полосы в ванне и раковине от постоянно текущих кранов. Сотня каких-то щёточек, коробочек, губочек, тряпочек на маленьких полочках – туалетные принадлежности всех жителей коммуналки. Конечно же тазы, вёдра и цинковые доски для стирки (я бы сказала для ЗАтирки) белья. Десяток натянутых бельевых верёвок под потолком. Всё бы ничего, если бы не сумасшедшая влажность и какая-то тропическая атмосфера этого никогда не просыхающего помещения общего пользования.

Туалет был своеобразен: к унитаду вели три высокие ступени, облицованные шершавой казённой плиткой. Стульчак был деревянный. Подвесной бачок с длинной цепочкой без труда заглушал автомобильный шум улицы Сайкина.

Эти три ступени, совершенно такие же, встретили меня через тридцать пять лет в общественном туалете дома-музея Достоевского на одноимённой улице. После Революции левая часть первого этажа продолжала служить музеем, экспонаты никто не вывозил, а правая часть и второй этаж были превращены в коммунальные квартиры.

К счастью, все новосёлы прекрасно осознавали уникальность тех стен, куда их впахнула новая власть (прямо-таки элитные новосёлы подобрались): благодаря их бережному отношению к историческому дому, все оконные и дверные проёмы, лестницы и потолки остались в неизменном виде с тех времён, когда этот флигель при Мариинской больнице занимала семья Михаила Достоевского, штатного врача.

Был ли при Достоевских здесь сортир, именно на этом месте, на подобном пьедестале – не известно. Но до наших дней он дошёл именно как свидетель коммунального быта, во всяком случае – для меня.

Но поражал меня, маленькую, не столько внешний вид этой ретирады, сколько тот факт, что не всегда можно было посетить это «священное» место тогда, когда назревала в этом острая необходимость. Мама выходила в общий коридор первой (я оставалась в комнате) и шла смотреть, не занят ли туалет. Наши соседи, пожилые муж и жена, были людьми пьющими; в те моменты, когда туалет был занят другими жильцами, они могли оставить «привет» перед дверью туалета, не стесняясь. Павел говорил им: «Уберите! У меня ребёнок!..» Они только бурчали что-то в ответ и просачивались боком в свою дверь.

Но для моей мамы было главным то, что рядом нет и не может быть её мамы. Остальное она стерпеть могла.

В нашей комнате был кассетный магнитофон. Родители довольно громко слушали какие-то модные эстрадные песни на иностранном языке. По-моему, это была «Абба», Тото Кутунио, Адриано Челентано – их тогда слушали все. Наверное, «Битлы». Чуть позже был дуэт супругов-итальянцев «Риччи и Повере» («Богатый и Бедный»), жену звали Ромина, а мужа Альбане... Или наоборот? А сверхмодная тогда песенка «Мани, мани» («Деньги, деньги») до сих пор крутится у меня в голове: где бы я сейчас случайно её ни слышала, тут же вспоминаю коммунальную квартиру на улице Сайкина.

Кое-какие небольшие памятные вещи из той квартиры Паша перевозил потом с собой с одного места жительства на другое, когда они с мамой уже развелись. Я очень хотела после его смерти «унаследовать» эти сувениры. К сожалению, из-за недоговорённости с родственниками Павла все его вещи оказались на помойке: эти старые непривлекательные «арт-объекты» имели ценность только для меня одной. Резиновый ёжик – маленькая немецкая игрушка в оранжевом свитере и коричневых штанах, с рыжей приклеенной шевелюрой; серые чугунные пепельницы в форме ежей, которые вставлялись одна в другую, образуя, в итоге, пирамидку из шести или семи ёмкостей; белая (бывшая когда-то белой) льняная салфетка с куцей бахромой, та самая, которую мы всегда стелили на чёрный полированный стол перед обедом...

Собственно, и сам полированный стол Павел тоже возил с собой.

От той квартиры и Павла у меня сохранились только убогие стеклянные новогодние шары на ёлку и гирлянда малюсеньких разноцветных лампочек – он передал мне их сам, незадолго до смерти. Они и по сей день лежат в той самой картонной коробке, в которой они были принесены родителями из магазина в коммуналку на улице Сайкина. Удивительно, что запах внутри этой коробки всё тот же. И куски ваты, которой сейчас обложены шары – те же. Я открываю коробку и «вижу» нашу комнату.

Мне сейчас кажется, что я боялась этой квартиры, не чувствовала себя там спокойно, не смотря на присутствие мамы. Мне говорили, что я долго не могла заснуть в этой комнате, всё время просила, чтобы кто-то держал меня за руку или хотя бы палец.

Единственным положительным моментом был Юра – соседский парень, пришедший из армии, который каждый раз при встрече в общем коридоре подмигивал мне. Юра носил тельняшку.

За дверью нашей комнаты висела гитара с голубым атласным бантом на грифе. Кто на ней играл – не знаю.

С улицей Сайкина связано у меня одно происшествие, ярко запомнившееся. Если перейти эту улицу (через подземный переход под окном нашей комнаты), то левее, ближе к Москве-реке, был небольшой пруд, который мама в молодости с удовольствием по воскресным летним утрам переплывала. «Вода – парное молоко!» – восторгалась она. Я не знала, что такое парное молоко, я была уверена, что мама купалась в пруду, где вода белого цвета.

На самом деле, над прудом по утрам поднимался ПАР. Этот пар означал, что вода была теплее утреннего воздуха, то есть самой приятной для купания. При этом, по своей температуре вода была сравнима со свеженадоенным тёплым молоком, которое тоже называют парным именно за его «приятную» температуру. Мама не могла объяснить мне этой сложной (для ребёнка) цепочки ассоциаций. «Вода – парное молоко» долго оставалось для меня загадкой.

Кстати, у того прудика было имя – Кожуховский. Правда, узнала я это совсем недавно. Прудик, как и дом, тоже был всегда хорошо виден из окон электрички на перегоне «Автозаводская» – «Коломенская». Мне всегда хотелось сообщить всему вагону, что моя мама летом переплывала его, и что он по утрам всегда белый, потому что не вода в том пруду, а парное молоко.

Над прудом был прекрасный зелёный лужок, заполнявшийся в мае сочными одуванчиками.

Однажды родители расстелили здесь покрывало, улеглись на солнышке отдыхать. Я долго лежать не могла, мне стало скучно, нужно было побегать. И вот, я бегаю вокруг нашей «стоянки», наматывая круги, а потом, увлечшись составлением букета из одуванчиков и майских травинок, отхожу далеко от родителей, теряюсь и уже в состоянии паники натякаюсь на чужих мужчину и женщину, которые так же, как и мои родители, лежат и загорают в одуванчиках.

Я нависаю над этими незнакомцами с громким рёвом: «Где мои родители???» При этом я не могу ничего толком объяснить ни им, ни себе; я вообще не уверена, что могу нормально изъясняться, мне не больше трёх лет!

Страх мой огромен: Я ПО-ТЕ-РЯ-ЛАСЬ!

Одуванчики кругом очень высокие и все одинаковые, я же абсолютно не ориентируюсь в сторонах горизонта. А мои родные мама и папа лежат в траве, их совершенно не видно, сколько ни крути головой... Одним словом – беда!!

Но помимо страха я испытала ещё и сильнейшую «обиду на жизнь»: когда я бежала к этим незнакомцам в одуванчиках, завидев издали их макушки, я была абсолютно уверена, что это и есть мои родители. По мере приближения я поняла, что их лица мне не знакомы, что это чужие родители, не мои.

Именно тогда я начала рыдать: ждала своих, а оказались – чужие.

Закончилось всё хорошо: незнакомая тётя мило засмеялась, а незнакомый дядя медленно поднялся (превратившись в гиганта в голубых брюках-клёш – я это «вижу» до сих пор) и моментально подвёл меня к моим родителям, которые и не подозревали о том, что я потерялась, перепугана до смерти, рыдаю от страха и разочарования. Они были молоды и заняты друг другом.

С тех самых пор, когда я вижу лужайки майских одуванчиков, я каждый раз вспоминаю тот детский ужас – приняла чужих людей за моих родных родителей.

Я запланировала ближайшим летом съездить на улицу Сайкина: мне хочется войти в наш двор, подойти к подъезду... Мне интересно, смогу ли я что-нибудь ещё вспомнить. Взять бы с собой маму-проводятого, но сомнения в её компании одолевают меня... Думаю, она откажет мне, а её отказы для меня – трассирующие пули.

Ещё об одуванчиках

Май в разгаре. Я почему-то уже не в детском саду, но ещё и не на даче. Мама пошла выгуливать меня в парк Советской Армии. На мне светлые бежевые штаны, футболка и белая или голубая кепка-панамы. Мама садится на скамейку с вязанием, я верчусь-кручусь без дела рядом. По-моему, у меня есть савок и ведёрко для песка, но в песочнице полно детей, а я очень стеснительная, мне трудно познакомиться с кем-то, тем более напроситься в игру.

Помимо песочницы есть ещё одно развлечение – беготня по зелёному наклонному газону от скамеек к кустам сирени наверху. Хорошо, что он не плоский – так труднее и интереснее (вверх-вниз, вверх-вниз).

Мне почему-то бегать нельзя: мама считает, что я могу испачкать свои парадные штанишки. Почему на меня не одели другие – не знаю. Дети должны бегать, падать, пачкаться...

Чтобы я сильно не расстраивалась, мама просит меня нарвать ей одуванчиков подлиннее, чтобы она смогла сплести для меня жёлтый веночек...

Я как-то неудачно их собираю, одуванчиковый сок щедро попадает на коленки, мои парадные штаны оказываются необратимо испорчены.

Дома бабушка нам обеим громко выговаривает за утерю товарного вида моими брюками. Мама и бабушка ругаются в коридоре. Я между ними...

Я чувствую себя очень виноватой. Но откуда мне знать о коварстве одуванчика, в мои четыре-пять лет, если даже Сама бабушка в её пятьдесят не знает о том, что дети выходят на прогулку, чтобы двигаться и познавать мир, а не сидеть на скамеечке рядом с мамой, которая занята вязанием?..

Нет, как ни крути, у меня масса причин недолюбливать одуванчики.

Брюки мои, конечно же, так никогда и не отстирались. Я носила их ещё какое-то время с коричневыми пятнами на коленях. Эти пятна были похожи на ненавистные веснушки на моём носу.

Универмаг «Марьинский»

Мама любила повторять: «Трудно представить, что когда-то это было самое высокое здание на нашей Октябрьской улице!»

Действительно, дома здесь оставались двухэтажными до конца 60-ых, а некоторые экземпляры, по-моему, и до середины 70-ых: первый этаж каменный, второй (он же последний) – бревенчатый. Настоящая провинция!

«Марьинский» же или просто «Мосторг» – именно так его именовали все поголовно местные жители – гордо возвышался над пейзажем: трёхэтажный, с огромными квадратными окнами.

Это здание было достойным детищем довоенного стиля конструктивизм: максимально простые внешние формы здания, а внутри – масса свободного пространства, воздуха и света. Идеальное место! Никто мне этого, конечно, не объяснял тогда; это мне подсказали мои книги через двадцать лет. Кстати, здания магазинов, подобных нашему «Марьинскому», изначально проектировались как угловые (на углу улиц). Не для того ли, чтобы дать как можно больше естественного света внутренним помещениям? Это же здорово экономит электричество! Кроме того, здание становится видным издали – никакой рекламы ему не надо.

В «Марьинском» совершались все важные семейные покупки: одежда, посуда, обувь, постельное бельё, канцелярские товары, косметика, бытовая химия... Не покупались там только книги и электрические лампочки – за этим мы ходили в магазин «Свет» в Институтском переулке и в «Книжный» на пересечении Лазаревского переулка и улицы Образцова.

В это «самое высокое здание на нашей улице» я ходила обычно с бабушкой за руку. Запомнилась какая-то особая «внутренняя ширина» этого магазина: то ли потому, что внутри действительно было очень просторно, то ли народу в Москве в те годы было относительно немного. Да и само местоположение магазина (далеко от Центра) не предполагало обилия покупателей.

Пустых прилавков в детстве не помню; наоборот – пестрота, ощущение ярмарки, базара... Или дело было в том, что любой большой магазин является весьма эмоциональным событием для маленького ребёнка, особенно в отсутствии иных развлечений.

Относительная безлюдность «Марьинского» ненадолго прекращалась дважды в год: накануне Первого сентября и за две-три недели до Нового года.

В декабре, на первом этаже магазина, в самом конце, в секции номер... (уже не помню!) на прилавках монтировали из пластиковых прозрачных перегородок своеобразные ящики, куда горками высыпались ёлочные украшения. Их было видно издали, от самого входа в магазин; они притягивали как магнит.

Украшения сияли на весь первый этаж. Нет, даже не сияли, а излучали таинственное мерцание, символизирующее какую-то тайну, сказку... Вот именно этот таинственный блеск задавал атмосферу близкого праздника: «Новый год – скоро!.. Чудеса – скоро!..»

А ожидание праздника – это безусловная радость, радость в чистом виде.

Стеклянные украшения стоили совсем недорого. Но мы крайне редко что-то покупали: дома в кладовой комнате стояла большущая картонная коробка с ёлочными украшениями, часть из которых радовали бабушку ещё в её детстве, до войны; бабушка не считала нужным совершать дополнительные траты на новые игрушки.

Ах, если бы знать, что эти советские стеклянные шары, шишки, птички, овощи-фрукты, корзинки с цветами, фигурки зверюшек станут через четверть века предметом коллекционирования!..

Но мне кажется, что какие-то пластмассовые новогодние «мелочи» на ёлку, которые уж совершеннейшие гроши стоили, а также мишуру, «дождик», бумажные гирлянды мне покупать было разрешено. Однажды бабушка поручила нам с дедом выбрать хороший стеклянный наконечник на ёлку: они все тогда были одинаковыми, в форме цветной спирали, которая, видимо, призвана была символизировать сосульку.

Я помню: благодаря небольшой площади моего детского тела, мне иногда удавалось протискиваться сквозь толпу покупателей, чтобы упереться носом в новогодний прилавок. Удавалось дотронуться до сокровищ!

Чего там только не было! Стеклянные чудеса равномерно распределялись по отсекам: золотые и серебряные шары, совершенно гладкие или с шероховатыми рисунками, корзиночки, Красные Шапочки, зайчики, белочки, птички-прищепки, какие-то необъяснимые сферы со вдавленными боками... Всё блестело, горело аж глазу вблизи было больно. А как это чудо манило детские пальчики! Так хотелось запустить пятерню в эти соблазнительные «огонёчки» и вытянуть навсегда какую-нибудь малюсенькую игрушечку... Я так никогда этого и не совершила, но хотелось совершить – всегда.

Слово «праздник» у меня до сих пор ассоциируется только с этим новогодним счастьем – блестящими стеклянными шарами в прежнем «Марьинском».

Накануне последнего Нового года я заходила в рядовой магазин подарков. Прекрасно расписанных новогодних шаров было невероятное количество. А какие изящные были стеклянные снеговички – шершавые, с глазками-бусинами, с тщательно прорисованными руками-ветками. В моём детстве мне такого и не снилось: несмотря на «таинственное сказочное мерцание» все желанные шары и Красные Шапочки были массовой штамповкой, довольно грубой и безыскусной. Но нужны мне, маленькой, были именно такие, ИМЕННО ТЕ – топорные, «ширпотребные», лишь бы блестели поярче. Я ведь и не подозревала, что где-то в мире существуют другие!

«Идеальных» снеговичков я не купила. Подумала: вот, может быть, зайду в январе, когда будет распродажа... Но не зашла и вскоре вообще о них забыла, потому что не хотелось мне их на самом деле!

Универмаг «Марьинский» уже давно не является «самым высоким зданием на нашей Октябрьской улице». Кругом выросли многоэтажные гиганты. Магазин же остаётся виден лишь потому, что стоит на самом углу Октябрьской и Третьего транспортного кольца, бывшего тихого Суцёвского вала. Магазин недавно ремонтировали. Внутри совершенно ничего не осталось от прошлого века. Неизменны только огромные окна, по-прежнему дающие обилие света. Под Новый год там, скорее всего, опять продают новогодние украшения, но они, конечно, уже не могут меня привлечь.

Однажды меня крестили

Бабушка считала себя верующим человеком. На Октябрьской улице, в дальней комнате, в углу под плотными шторами, висела и висит до сих пор (уже пятьдесят лет!) небольшая икона в посеребрённом окладе. Я никогда не видела и не слышала, чтобы бабушка молилась перед этой иконой. Она вообще никогда её «официально» не открывала – при мне, по крайней мере. Икона висела там ТАЙНО; я несколько раз просила бабушку снять икону и показать мне её поближе. Бабушка отмахивалась...

Я догадывалась, что наличие у нас дома иконы – Великий Секрет. Бабушка просила «никому-ничего-не-рассказывать».

Несколько лет назад, уже после смерти дедушки, когда я стала заезжать на Октябрьскую улицу совсем редко (бабушка без дедушки меня совершенно не привлекала), я спросила её, какая именно богоматерь изображена на иконе. Бабушка удивлённо пожала плечами и ответила: «А шут её знает!». «Давай почитаем, там же на окладе должно быть пропечатано,» – предложила я. «Ну её на фиг, висит и пусть себе висит!» – ответила бабушка.

Такая специфическая у неё была вера.

В другой раз бабушка всё же согласилась вынуть её на свет из-под шторы. Оказалось, что это рукописная икона Казанской Божьей матери. Никакой особой художественной ценности икона не представляла, она была совершенно массового производства, если можно так выразиться. Однако, это была память об Ольге, матери моей бабушки, то есть семейная реликвия. Иконе было чуть более ста лет.

На Пасху бабушка делала два или три кулича и обилие крашеных в луковой шелухе яиц (и то, и другое ей удавалось идеально). В Прощёное Воскресенье она звонила малочисленным родственникам и знакомым и, согласно традиции, просила у них прощение, никогда не уточняя за что именно. Бабушка так и говорила: «Простите меня, если что не так» или «Простите меня за всё». В Вербное, соответственно, кто-то приносил нам в дом, по просьбе бабушки, бардовые веточки вербы.

Посты она соблюдала как-то выборочно, по собственному желанию. По большим церковным праздникам она заставляла маму и дедушку обязательно съездить на Пятницкое кладбище, где были похоронены все бабушкины родственники. Заодно они должны были занести в церковь поминальные записки...

Из молитв бабушка знала наизусть только «Отче наш». На этом её набожность заканчивалась.

Никогда никаких религиозно-философских бесед бабушка ни со мной, ни с кем другим не заводила. Вся «философия» сводилась у неё к одному единственному высказыванию: «Бог всё видит!» (произносила она это грозно, при этом поднимая вверх указательный палец и яростно им тряся).

Бабушка никогда никого не убеждала в необходимости быть верующим, однако, на семейном совете она постановила: «Верушу надо обязательно крестить, она должна быть крещёной». Возражения не принимались.

В то время (самое начало 80-ых) в Москве тем родителям, которые приводили своих детей в церковь на Крещение, ставили в паспорт какую-то особую печать. Так говорила бабушка. Возможно, так оно и было на самом деле. Так как подавляющее большинство людей служило в каких-то государственных учреждениях и состояло в Коммунистической партии, то подобная печать в паспорте могла прекратить чью-то карьеру раз и навсегда: государственной религией у нас тогда был атеизм.

В Знаменской церкви около метро Рижской у бабушки была знакомая старушка, Людмила Дмитриевна (Покровская -?), приятельница её покойной матери Ольги. Данной церкви одинокая Людмила Дмитриевна передала какое-то своё имущество, возможно, завещала и московскую квартиру. За эти заслуги старушка получила право доживать свои дни при церкви (ну, ещё бы, «почётный донор»!). «Она чувствовала себя там как дома, она там всех знала» – по выражению бабушки. Эта Людмила Дмитриевна, которую я совершенно не помню внешне, попросила «этих всех», чтобы маме не ставили в паспорт печать о крещении дочери Веруши.

И вот, мне шесть или семь лет, конец мая или июнь, мама ведёт меня в церковь для совершения соответствующего таинства. У меня при себе огромное банное махровое полотенце и Людмила Дмитриевна с маленьким старинным золотым крестиком, отлитым ещё в 19-ом веке (на крестике выбиты инициалы мастера и профиль какого-то правителя, как мне казалось).

Народу в тот день крестилось довольно много, разного пола и возраста. Всех попросили раздеться, обернуться принесёнными простынями или полотенцами и встать полукругом. Людмила Дмитриевна всё время стояла у меня за спиной (собственно, она и была моей крёстной), подсказывая, что надо делать в тот или иной момент обряда. Я абсолютно ничего не понимала из происходящего (как, я уверена, и моя мама, сидевшая по ту сторону дверей «крестильной комнаты»).

Но на происходящем настаивала бабушка. А раз бабушка на чём-то настаивала...

Вообще-то было довольно торжественно: большие сводчатые церковные окна того предела, выходившие на юг, давали много света; день же был солнечный, какой-то ласковый... Всё «поповское обмундирование» блестело, купель была огромной и тоже блестящей, полотенца и простыни были преимущественно белыми... Действительно было похоже на некое завораживающее таинство.

Примерно через час меня вывели к маме, которая меня зачем-то поздравила...

Людмила Дмитриевна подарила мне в тот день фарфоровую тёмно-синюю пару с золотым ободком. Тем же летом я разбила чашку, а блюдо осталось: чашка оказалась скользкой от сгущёнки, детские пальчики, увы, не справились. Помню, бабушка готова была меня уничтожить за утрату этой ценности.

Год назад на питерской квартире моей московской одноклассницы я с удивлением обнаружила четыре таких же чашки: оказывается, Людмила Дмитриевна подарила мне пару из сервиза (сервиз, наверное, она тоже церкви передала?). И никакой ценности эти чашки не имели – обычная массовая продукция ЛФЗ. А бабушка утверждала, что они старинные, позолоченные...

Возможно, это было просто её преклонение перед Людмилой Дмитриевной, как «высшей по положению» (кажется, родители последней перед Революцией были очень состоятельными людьми, владевшими на Сретенке ювелирным магазином, а родители бабушки, как и сама бабушка, всегда оставались мещанами, «обыкновенными людьми» во всех смыслах).

Итак, после церкви мама повезла меня на дачу – сдавать бабушке. В электричке она дала мне ужасно невкусную шоколадку. Я и не знала тогда, что шоколад может быть невкусным! Он был сделан из какого-то заменителя и назывался «Детский». Есть его было невозможно, но я упорно делала вид, что мне вкусно: шоколадки покупались редко, я не хотела обижать маму. Но помимо противного шоколада мама везла с собой ещё и просвирки – жуткие пресные «столбики» из серо-жёлтого теста, взятые ей в церкви после крещения.

Эти два отвратительных недетских вкуса до сих пор прочно связаны у меня с тем далёким днём.

Меня заставляли есть эти «булочки» натошак на протяжении недели, если не больше, откусывая каждый раз понемногу.

Бабушка подгоняла меня перед завтраком к буфету и...

Они были абсолютно пресными и сухими, эти «хлебо-булочные изделия», есть их было совершенно невозможно, особенно маленькому ребёнку. Ничего, кроме рвотного рефлекса, они у меня не вызывали. А главное – ради чего я должна была испытывать эти мучения?! Глупость какая-то!

Увы, я была ребёнком-рабом; у меня не хватало силы духа прятать ежедневные порционные кусочки этих просвирок в карман и относить их птичкам, этим божьим тварям, за калитку. Я предпочитала давиться и мысленно (она к тому времени уже была съедена) «закусывать» просвирку маминой суррогатной шоколадкой...

Креститься меня не учили: я только подростком запомнила, что нужно справа налево, а не наоборот.

– Ты что, – журил меня старший приятель Лёха Голубой в московской компании, открывая очередную бутылку пива, – это же так легко запомнить: шапка, ширинка, партбилет, кошелёк!

Приятель сопровождал свои слова соответствующими действиями правой руки...

Я сейчас органически не переносю всё, что связано с религией. Это костыли, в которых я не нуждаюсь. Кроме того, я не вижу никакой разницы, в какую химеру верить, если тебе уж так хреново живётся в твоей реальности. Я выбираю алтарём нарнийский шкаф, он тоже резной и деревянный.

Но вот иконы, эти «крашенные доски», и сами здания церквей интересуют меня бесконечно. Зарисовывать византийские орнаменты в церквях и разглядывать иконы я могу часами. А ещё мне нравится церковный колокольный звон по праздникам: недавно в Костроме на приростани не смогла сдержаться ноги и пустилась в пляс, так мне было хорошо.

(«Православная толпа» косилась на меня. Никто не улыбнулся. Большинство стояли понурые и сосредоточенные как будто на похоронах или экзамене по сопромату).

Вообще церковь привнесла в мою жизнь огромное эстетическое наслаждение: чего стоят одни кадила и лампадки, украшенные разноцветными витражными стёклышками и поделочными камнями – всё блестит, горит, таинственно мерцает в сумраке церкви... Прямо как новогодние ёлочные украшения! И любоваться ими может каждый, для этого не обязательно быть крещёным.

Кто был истинно верующими людьми – так это мои предки по отцовской линии. Родной прадед моего отца был священнослужителем в небольшой деревеньке под Павловским Посадом; его расстреляли в 1938 году; подробности до сих пор не известны. Его сын, двоюродный дед отца, служил уже после войны настоятелем Успенского собора в Звенигороде, он умер в 41 год от сердечного приступа, бездетным, у этого собора его и похоронили. Недавно я с удивлением обнаружила информацию о нём на просторах интернета. Выяснилось, что помимо служб он вёл абсолютно все хозяйственные дела храма и прекрасно пел в составе церковного хора. Фамилия их была Ремезовы, священниками они были потомственными.

Узнала я об этом накануне своего сорокалетия: доступ к отцу и к его семье мне был перекрыт в детстве бабушкой и мамой (конечно, совсем не по причине «неподходящей родословной» с отцовской стороны).

Казённая манная каша

Жилось мне в детском саду плохо. Отправили меня туда с той целью, чтобы я «вошла в коллектив» – так мне, тридцатилетней, объяснили бабушка и дедушка (я никогда не могла простить своей семье этого «вхождения» и периодически напоминала им об этом). По натуре своей я была наблюдателем, которому нравилось только созерцать происходящее, но не участвовать. Таким детям насильственное внедрение в коллектив ничего, кроме психологической травмы, дать не может.

Я говорила и бабушке, и дедушке, и маме, что мне неприятно в саду, что идти мне туда не хочется... Меня никто не слушал. Хуже того – меня убеждали в обратном.

Если не помогают слова, детский организм включает «высшую» защитную реакцию – болезни. Болела я часто и долго. Но моя семья была непоколебима: «Надо приобщаться к коллективу, надо учиться со всеми находить общий язык» (последнее выражение – одно из «коронных» моей бабушки).

По каким-то неведомым мне причинам бабушка была одержима постоянным желанием растворить меня в толпе, сделать меня частью толпы, сравнить с ней так, чтобы я была как все. Призыв «быть как все» бабушка упорно несла через всю жизнь. Одновременно она требовала от меня «быть не хуже других».

Выделяться, высовываться, отличаться и лидировать мне не предлагалось. Вероятно, я должна была стать, по задумке бабушки, очень чистенькой серой мышкой в среде серых мышек...

Да, в какой-то степени бабушка была права: детские сады и школы – это школы жизни, в нашей стране, по крайней мере. Но что если ребёнок не хочет и не может по каким-то причинам воспринимать эти «суровые уроки жизни» и «законы джунглей»? Не готов? Не созрел в 4 года его маленький мозг? Может, созреет чуть позже?

Нет, бабушка была уверена в своей правоте...

Я могла совершенно спокойно оставаться до первого класса дома, при бабушке – она, получив в тридцать лет инвалидность и пенсию, стала домохозяйкой. Мне тогда казалось, что мне было бы лучше в родных стенах Октябрьской улицы с любимыми книжками...

А если нет, а если хуже?.. Получается, что у меня не было выбора?..

Будучи взрослой, вооружившись педагогическим дипломом, я «на пальцах» объяснила дедушке и бабушке, насколько мне было тяжело в садике и что им нужно было постараться ТОГДА меня услышать и понять.

Дедушка тихонечко посмеялся, развёл руками: «Ну, Веруша, теперь ты нам всё хорошо объяснила, и мы всё поняли.»

Теперь?!.

А тогда говорили: «Не придумывай, пожалуйста: все нормально ходят в сад, так положено, и ты ходи вместе со всеми.»

В сад мне почти всегда надевали одно и то же коротенькое бардовое платье: бабушка считала, что бардовый цвет мне очень идёт. На детсадовские праздники мне пришивали к этому платью белый кружевной воротничок и тощие белые манжеты. Меня часто тошнило в саду. Я теперь точно знаю, что происходило это исключительно по психосоматическим причинам: я пыталась выbleвать из себя ненавистный детский сад, если другие способы его избежать были недоступны. Моё бардовое платье на груди и животе было в «тошнилках». Бабушка застирывала дома эти пятна, но запах не проходил. В итоге, мне казалось, что я постоянно нахожусь

в запахе собственной блевотины. Чудовищно то, что бабушка долго берегла это бардовое платье после окончания моих мучений в детсадовских стенах.

– Оно хорошее, жалко выбрасывать, – объясняла она.

Со времён детского сада я до сих пор храню две вещи. Одной из них я лишилась совсем недавно.

Во-первых, это полированная ракушка из заморских стран, с просверленной дырочкой под нашейный шнурок или цепочку – я украла её у кого-то из детей для моей любимой мамы, хотела порадовать. Я соврала, что мне её подарили. Мама действительно носила эту ракушку на кожаном шнуре. Теперь эта ракушка вернулась ко мне. Мама отдала её несколько лет назад моей старшей дочери как сувенир. Мама не помнила, как и когда эта ракушка к ней попала.

Во-вторых, это детское колечко из неизвестного металла, с гранёным фиолетовым камешком в форме продолговатого зёрнышка. Колечко налезало только на мой взрослый мизинец, но я носила его вплоть до дня утраты! Фиолетовый камешек, бывший, конечно же, просто цветным стеклом, придавал своим таинственным мерцанием некое благородство простому детскому колечку.

Мне кажется, я нашла это кольцо в весеннем снегу, во время нашей групповой прогулки в детском саду. Снег был слежавшийся, колючий, он ранил пальцы. Вырыть норку – «домик для куколки» – детским пальчикам было очень трудно (позднее я узнала, что для этого «снегольда» существует отдельное название – фирн).

Перчатки и варежки промокали моментально, лучше было их вообще не надевать. А не рыть снег нельзя: надо же чем-то заниматься на прогулке. Я строила пещерку для моей куколки. Куколка-пупс имела платья из конфетных фантиков. В фантиках аккуратно прорывались две дырочки для резиновых ручек; в таком бумажном наряде мой пупсик был похож на милую лесную феечку, почти настоящую...

Рыла, рыла и обнаружила в глубине сугроба колечко.

Мне следовало спросить у детей вокруг, кто потерял кольцо. Но я этого не сделала: слишком ценной показалась мне моя находка, возможная утрата неожиданно нагрянувшего счастья казалась мне равносильной смерти. Я спрятала находку в карман и унесла домой.

В детстве я не носила это кольцо (бабушка и не разрешила бы) и предпочитала никому из домашних не показывать своё счастье. Созерцала я его тайно! Колечко было искривлено с самого начала, «позолота» оставалась только вокруг «камешка», на витых «лапках», но оно всё равно раз и навсегда получило статус сокровища.

Понятно, что на деле оно не имело ни малейшей ценности, «железяка», но оно ВСЕГДА (в моей взрослой жизни) лежало рядом с настоящими ювелирными украшениями – весной 2008 года у квартирных воров не было времени изучать каждую побрякушку в отдельности, унесли все.

О потере этой вещи я очень скорблю. Это была память сердца!

Я до сих пор осталась сорокой. Этот мой «недуг» – детский. У меня совершенно не было никаких «мелочей», которыми дети обычно заполняют «детские тайники»: коробочки, баночки, маленькие сумочки... Мне не покупали и не отдавали, не считали нужным. Я не просила – знала, что откажут. Отказ – это больно. Я до сих пор не могу ничего просить у мамы и бабушки – из-за этой боли отказа, не из гордости.

Занятно, что сейчас процесс покупки различных предметов меня абсолютно не удовлетворяет. Мне нужно именно найти, вдруг, какую-то привлекательную мелочь, желательно цветную и блестящую и поместить её в специальный шкаф. Да-да, вместо несостоявшейся потайной коробочки у меня теперь есть целый старинный шкаф с массой секций. Этот шкаф в 19 веке

принадлежал какому-то нотариусу (глубокие секции соответствуют буквам алфавита), а в 20-ом – известному советскому автомобильному конструктору Виталию Андреевичу Грачёву, с правнуком которого, названным в честь прадеда Виталием, я была хорошо знакома.

В детский сад были отнесены дедушкой две моих канарейки: птичек подарили мне на пятый день рождения родственники Павла, вместе с клеткой. Ребёнок не может полностью отвечать за своих питомцев, как бы он ни клялся в этом родителям – он ребёнок! В итоге я стала «ускользать» от обязанности следить за чистотой клетки, тем более, что птички жили в Медведково, у родителей, а приезжала я туда только по выходным. Мама приняла решение передать двух канареек в мою группу детского сада. Бабушка, надо отдать ей должное, каждую неделю давала мне с собой в сад свёрточек с кусочками морковки и капусты – для птичек.

В какой-то момент мои разнополые птички свили гнездо, что было весьма удивительно (клетка была малюсенькой, пернатые находились в состоянии постоянного стресса из-за обилия детей, любивших потыкать в них карандашами и пальчиками, никакого супер-корма птицы не получали). В гнезде вскоре появилось несколько бледно-голубых малюсеньких яиц. Увы, подслеповатая нянечка, чистившая поддон клетки, вытрясла гнездо за окно, решив, что это просто комок из перьев. Но то ли не все яйца находились в этом «улетевшем» за окно гнезде, то ли наблюдательные канарейки имели второе гнездо в пустой кормушке, которая подвешивалась высоко к прутьям и не чистилась, но – ПТЕНЦЫ РОДИЛИСЬ! На одном из них, помню, была чёрная шапочка.

Очень может быть, что семья канареек ещё долго жила в детском саду, периодически давая потомство.

Вокруг нашего детского сада росли высоченные тополя. Тополь, по-моему, самое московское дерево! Однажды к нам пришла заведующая детского сада (прямо так и стоит сейчас передо мной: по-мальчишечьи короткие прямые волосы, чёрные, модная чёрная водолазка, вязанный крючком длинный жилет в красных тонах, бардовая шерстяная юбка ниже колен; на шее что-то круглое, декоративное, на длинной цепочке – такая стандартная модная деловая женщина семидесятых). Заведующая ругается на нас: «Вы плохо нарисовали деревья! Таких деревьев не бывает! Разве так рисуют? Немедленно всё переделывайте.»

А как мы, пятилетние, нарисовали? Деревья-пирамиды – вот как мы нарисовали. Там, где корни – широко, где макушка – узко, ветки торчат направо и налево под прямым углом. Всё дерево завершается «естественным шпилем». А как ещё можно? Мы же маленькие, нам не видно снизу, чем завершается дерево наверху. Слово «крона» ещё никому не известно. Понаблюдать же за деревьями нас никто не призывал до начала процесса рисования. Заведующая просит внимательно посмотреть в окошко только сейчас, когда листы бумаги, по её мнению, безнадежно испорчены...

Будучи взрослой, я оказываюсь в Музее народного искусства на Делегатской. В зале «крестьянского творчества прошлых веков» я впиваюсь взглядом в расписанный шкаф-поставец конца девятнадцатого века, привезённый с Русского Севера. Что такое? Где же я могла видеть такие рисунки? На дверцах шкафа нарисованы деревья-пирамиды: там, где корень – широко, где верх ствола – острый шпиль, ветки с оранжевыми плодами торчат под прямым углом направо и налево от ствола...

Яблоня!

С подобными примитивными «детскими» изображениями деревьев я сталкивалась потом ещё не раз в краеведческих музеях разных городов. Оказывается, деревья с глубокой древности было принято изображать именно так, как мы, наивные, незнакомые с законами перспективы, сделали это в детском саду. И это было абсолютно нормально!

Теперь я «лезу из кожи вон», чтобы сделать мою руку вновь «детской» (я стала художником) – не получается, мешает «взрослое» художественное образование.

В нашем детском саду не было отдельной столовой. Завтраки, обеды и полдники нам приносили в группу в огромных кастрюлях или в алюминиевых общепитовских противнях. Кухня же располагалась на первом этаже здания; нас туда однажды водили на экскурсию. Кажется, там нам предложили взять с подносов тёплые (их недавно посушили) продолговатые сухари из белого хлеба – кто сколько хочет.

Я запомнила кое-что из блюд: манная каша, высокий омлет, рисовая запеканка, суп с клёцками, пирожки с яблоками, какао, розовый фруктовый кефир. Больше ничего в памяти не отложилось.

Манная каша подавалась нам вместе со шлепком тёртой морковки на бортике небольшой белой тарелки. В месте «столкновения» каши и морковки оставалась алая размытая полоса. Каша была вязкой, не горячей, ела я её с великим трудом. Однако, нянечка «баба Женя», год рождения которой, как я сейчас понимаю, был примерно 1890-ый, была добрейшим человеком; моё пренебрежение манной кашей, казалось, было ей близко, она как будто говорила взглядом: «Ну, милая, не расстраивайся, я тебе поменьше положу...».

Однако, обожаемый мной омлет был неестественно пышным именно из-за наличия в нём... небольшого количества набухшей заранее манки. Я узнала об этом относительно недавно.

То же и с клёчками в казённом супе – манка, соль, яйцо. А ведь я их ела с великим удовольствием, не догадываясь о составляющих компонентах.

В рисовой запеканке съедобной была только хрустящая корочка, политая растопленным сливочным маслом.

Пирожки с яблоком всегда подавались в паре с кефиром, обычным или сладким розовым («Фруктовым»). До сих пор вкус кефира вызывает во мне желание немедленно купить пирожок с яблоком; как будто друг без друга они не должны поглощаться. Пирожки казались невероятно желанными только потому, что других пирожков в моей жизни практически не было, эти были единственными. А пирожки ребёнку очень нужны, я поняла это, когда сама стала мамой: пироги для ребёнка – символ Дома, а Дом для маленького человечка всегда самое любимое место во Вселенной.

В какой-то группе детского сада воспитательницы раздавали нам картонные одноразовые стаканчики с небольшим количеством земли, в которые мы закапывали крупные семена каких-то растений (не тыквы ли?). На стаканчиках писались наши имена. Стаканчики выставлялись на светлый подоконник. Потом мы все бегали смотреть: у кого первого зёрнышко взойдёт. Чёрная земля, белый стаканчик... Куда потом их девали, эти взошедшие ростки?

О детских праздниках в спортивном зале и об общих спальнях комнатах – «дортуарах», блин! – мне вспоминать не хочется. Вот где было высшее проявление балагана, так мне противного.

Помню, в средней группе в спальне девчонки хвастались друг перед другом трусами с оборочками (вместо сна, разумеется). Мне хвастаться было нечем: мои трусы из экономии шились бабушкой, не покупались. Я их всегда стыдилась.

До сих пор никак не могу понять: как можно заснуть в помещении, рядом с малознакомым человеком, который при этом ещё и посматривает на тебя. Это же небезопасно! Я никогда не спала днём в детском саду. А если тебя «засекали» не спящим или хотя бы плохо притворившимся (что спишь), тебя немедленно поднимали и ставили «позорным столбом» «перед строем». Однажды это случилось и со мной. Воспитательницу звали Татьяна Игнатьевна, ни

на какие мои «простите, пожалуйста, я буду спать» она не реагировала. Поставила босиком на холодный пол и перед всеми отчитала... Торжество педагогики!

Спали мы в той группе на раскладушках, которые мы сами раскладывали и сами застилали. Положить ровненько постельные принадлежности – это я делала легко, но вот самостоятельно достать с каких-то высоких тёмных антресолей в подсобке полосатый ватный матрас, скрученный улиткой... Это было великим страхом для меня: я была уверена, что матрас завалит меня на спину! Просить о помощи я стеснялась. Показать перед ребятами свой страх стеснялась ещё больше. В итоге, я дождалась, когда все ребята закончат разбирать матрасы и уйдут в общую комнату. Если никто не видел моих неловких потуг вытянуть матрас, я чувствовала себя спокойнее и, кряхтя, справлялась с этой немалой для меня физической трудностью.

Я сейчас подумала: может быть, нас, и мальчиков, и девочек, готовили с младых ногтей к обязательному прохождению службы в армии?..

Перед Новым годом принято было клеить из цветной бумаги фонарики, гирлянды-цепи и вырезать из сложенных салфеток замысловатые снежинки, которые потом приклеивались на стёкла окон. Никогда я не умела резать эти снежинки! И сейчас не умею, фантазии не хватает. А некоторые воспитатели делали это виртуозно. К сожалению, большинство из них никакими другими талантами похвастаться не могло.

Единственный воспитатель, который всегда, во всех ситуациях оставался для меня высшим прекрасным существом, была Галина Павловна, жившая с нами в одном доме на Октябрьской улице. Всегда вежливая, всегда доброжелательная, обаятельная, интеллигентная... Высокая причёска, идеальная осанка, строгая чёрная прямая юбка, модные цветные батники (мама любила это слово, а чем батник отличается от рубашки, я до сих пор не знаю). Галина Павловна всегда носила на шее кулон, а в ушах небольшие золотые серёжки с камешками.

Она была одиноким человеком. Может быть, у неё были взрослые дети, но мужа у неё не было.

Если бы мне сейчас сказали, что она была «из бывших», и её девичья фамилия... Корфф, то я охотно поверила бы. Уж очень манеры и осанка Галины Павловны выделяли её из прочих воспитательниц советского дошкольного учреждения. Когда были дни её дежурства – я чувствовала себя защищённой.

Десять лет назад я встретила Галину Павловну в Центральном доме Советской (нет, тогда уже Российской) армии. Она служила там гардеробщицей. Я же приходила в это здание по своим библиотечным делам. Удивительно, но она меня узнала! И поразила меня той же безупречной осанкой и прекрасной, «её», полуулыбкой на губах. Ах, как соответствовали её стильному облику эти стены бывшего Екатерининского института благородных девиц дворянского происхождения! Не гардеробщицей она мне тогда показалась, а... распорядительницей бала.

Жива ли она до сих пор – не знаю.

А манную кашу собственного приготовления я сейчас ем с огромным удовольствием. Сервирую я её без тёртой морковки.

Канареек же не держу, как бы об этом меня ни просили мои кошки.

И ещё: своих дочерей я в детский сад не сдавала.

Новый год – семейный праздник?

Мама не любила этот праздник: его нужно было проводить на Октябрьской улице, за столом со своими родителями. Два дня маминых мучений! И всё ради того, чтобы угодить бабушке, считавшей, что Новый год – семейный праздник, а значит, все должны быть вместе, рядом, обедать, разговаривать, общаться с маленькой Верушей...

В итоге родители приезжали 31 декабря днём с сумками, а 1 января вечером со вздохом облегчения покидали «гостеприимную» Октябрьскую улицу, сбегая к себе на улицу Сайкина, а позже – в Медведково («Отмучились!»).

Меня они с собой не брали. То ли не хотели сами, то ли бабушка не отдавала.

Все сцены прощания с родителями в коридоре завершались одним – маминой спиной. Она всегда уходила от меня. Я гораздо чаще видела её уходящей. До сих пор я её вижу именно такой. Я всегда её провожаю, у неё всегда дела, она никогда не может остаться со мной надолго.

Но Новый год – это подарки. Для маленького ребёнка они важнее мамы. Как бы это признание ни было обидным для мамы, это – правда. Их ждёшь очень-очень, ничто не может омрачить ожидания новогодних сюрпризов. Даже скорый мамин отъезд, о котором ты знаешь заранее.

В нашей семье закупкой подарков – как я позже поняла – занимались дедушка и мама. Соответственно, и самим себе делали подарки тоже они, талантливо разыгрывая по утрам сценку: «Ну-ка посмотрим, что принёс Дедушка Мороз нашей мамочке!..» Я не могу вспомнить, что дарил себе дед, а вот один подарок мамы (себе же) запомнила хорошо: модные французские духи «Клима» в небольшом, по сравнению с массивной прямоугольной крышкой, флаконе.

Я ничего не смыслила во французских духах. Синяя коробочка, обитая изнутри атласной тканью янтарного цвета, в которую был «утоплен» флакон, казалась мне привлекательнее самих духов. Точнее – она была для меня уже очень ценным предметом.

Сейчас понимаю, что подобную дорогую покупку даже такая транжирка как моя мама могла приурочить только к какой-то особенной дате. «Под руку попался» Новый год.

И такую неземную радость и удивление изображало мамино лицо в момент открытия коробки с духами, что мне, маленькой, безоговорочно верилось в то, что духи под ёлкой – действительно полная для неё неожиданность!

Странно, но подарки, предназначенные для меня, в памяти не остались. Разве что заводная жёлтая обезьянка: мы с мамой пошли в парк первого января, завели обезьяний механизм, уродливый плюшевый зверь покувыркался немного в снегу и почти тут же сломался. Папа сказал, что механизм заржавел от влаги, но починкой игрушки так никто и не занялся.

Был ещё маленький карманный калькулятор на солнечных батарейках, так необходимый мне в школе: он был совершенно плоским и его спрятали между двух шоколадок, перевязав ленточкой. Я вынула подарок из-под ёлки, и ком встал в горле: «Шоколадки? И всё?!» Мне моментально захотелось расплакаться. Взрослые сказали, что надо развязать ленту, а мне уже хотелось только плакать, и этот долгожданный калькулятор ни малейшей радости не принёс.

Однако, он прослужил мне года три-четыре, что не так уж мало для китайской безделушки.

Я сейчас думаю: ведь это была вещь, необходимая мне в учёбе... Почему её нужно было дарить именно в качестве новогоднего сюрприза? Необходимая ребёнку вещь не должна носить статус подарка, она должна быть просто покупкой. Тем более такая утилитарная, как карманный калькулятор.

Ёлку в нашей семье наряжали исправно до тех пор, пока был жив дедушка.

Ёлка занимала своё законное место в большой проходной комнате даже тогда, когда мне, по возрасту, это уже никак не могло быть интересно, даже тогда, когда родители развелись, и мы перестали исполнять эту «новогоднюю повинность» – сбор всей семьи за праздничным столом.

Я спрашивала деда, зачем он по-прежнему покупает ёлку к празднику, а он отвечал, что бабушка просит... Правда, когда родилась моя старшая дочь, бывавшая на Октябрьской улице очень часто, то дедушкины ёлки получили как бы вторую жизнь.

Сейчас вспоминать мне о них очень и очень грустно: семейный праздник (да, у нас его называли именно семейным!), которого никому на самом деле не хотелось, но который был неизбежен «согласно постановлению» бабушки.

Подавалось к столу всегда одно и то же: жареная курица или индейка в окружении горячего зелёного горошка и длинных ломтиков жареной картошки, которые бабушка гордо именвала «картофель по-французски». Перед обжаркой бабушка раскладывала влажные ломтики картошки между двумя полотенцами – именно на этом этапе «русская» картошка превращалась во «французскую», отдавая лишнюю влагу ткани. В итоге пожаренные ломтики казались сухими и хрустящими.

Салатов бабушка на стол не допускала: она объясняла это своей брезгливостью к различного рода «мешанине». Разрешались только солёные огурцы, порезанные крупными дольками (свежие тогда появлялись в продаже только, кажется, в марте), отдельные веточки зелени, домашняя квашеная капуста.

Открывалась единственная баночка грибов, собранных и засоленных летом специально для этого застолья, финский сервелат, сыр, шпроты. Красную рыбу бабушка не жаловала: её мать Ольга говорила, что красная рыба – для пролетарского стола. Бабушка свято помнила этот наказ собственной матери и всегда просила деда купить белую – хоть сколько-нибудь. Когда осетрина исчезла из продажи, пришлось, конечно, соглашаться на то, что было: лосось, форель и даже горбушу. Небольшие баночки с чёрной и красной икрой присутствовали на столе всегда.

Помню ещё селёдку в продолговатой фарфоровой селёдочнице, порезанную на кусочки, сдобренную подсолнечным маслом, с кружками лука сверху. Я не могла её есть, мешали мелкие косточки, так ощутимые детским нежным нёбом. Я совершенно не понимала, как могут её есть взрослые. Никакой «шубы» селёдке не полагалось: считалось, что тогда это будет та самая «пролетарская» мешанина, недопустимая для цивилизованного бабушкиного стола.

Запомнились ещё пузатые фужеры из цветного стекла – красного, синего, зелёного. Они, как мерцающие огоньки гирлянд на ёлке, добавляли комнате немножко сказки. Взрослые пили всё – водку, вина, шампанское (мама всегда полоскала в своём фужере с шампанским алюминиевую проволочку от пробки, чтобы колючее шампанское превратилось в сладкое белое вино).

Мне полагались «Байкал» и «Тархун».

К чаю подавали торт. Запомнился жёсткий «Ленинградский». Хотя в другие дни «случались» вполне «сдобные» «Российский» и «Бирюсинка». По-настоящему семейным тортом, «нашим», считался «Наполеон» из слоёного теста.

С тортами под Новый год ситуация в «Кулинариях» была, видимо, напряжённая: их моментально расхватывали. Срок хранения их тогда был не более трёх суток, а не пять, как сейчас.

Никогда не покупался торт «Полёт» и «Паутинка», даже не знаю, за какие такие их провинности. Вероятно, наша бабушка не жаловала союз безе, орехов и сливочного крема.

«Прага» считалась у нас тортом недетским. К столу его не покупали.

Кто-то из бабушкиных знакомых однажды привёз четверть «Киевского» торта – «Веруше на пробу». Мне сказали, что внутри этого торта – каштаны. Я долго не могла понять, как же их можно есть, эти каштаны, они же несъедобные! Помню, я отказалась попробовать даже чуть-чуть от того большого куска. Бабушка не смогла мне объяснить, что каштаны там – съедобные, а совсем не те, которые растут в парке Советской Армии, недалеко от дома. Знала ли она сама об этом – вопрос. А ведь это был настоящий «Киевский», привезённый кем-то из настоящего Киева...

Больше никогда мне не предоставлялся подобный случай: современные московские «Киевские» выпускают с арахисом или кешью внутри. Однако настоящие жареные каштаны, вне торта, мне потом попробовать удалось: прекрасное лакомство!

Помимо торта подавалось ещё и мороженое: брикет ванильного пломбира, раскладываемый по блюдечкам. Мама мороженое никогда не ела – она худела.

За все годы обязательного празднования Нового года кроме меня, мамы, бабушки, бабушки и меняющихся маминых мужей никогда никто за этот стол не приглашался. Последний раз за этим столом мы сидели втроем на поминках бабушки, пять лет назад – мама, бабушка, я. С тех пор этот большой стол нас вместе больше не видел.

Ёлка всегда была живой и всегда замечательно пахла. Особенно явным этот запах был ранним утром 1 января, когда маленькая квартира ещё не оживала. Бабушка и дедушка единственную ночь в году спали вместе на бабушкином диване в проходной комнате (в той самой, где стояла ёлка и праздничный стол), а свой диван бабушка уступала маме и папе. Я же спала в своей кровати, в нашей с бабушкой общей комнате. Родители, соответственно, были «при мне» до утра!

«Дед Мороз» приходил ночью: покидая поздно вечером стол, я видела под ёлкой совершенно пустой и чистый пол, а утром, когда я тихонько кралась через проходную комнату в туалет, под ёлкой было уже полно свёртков.

В обеих комнатах чуть-чуть брезжил рассвет. Ёлочные украшения мерцали при этом тусклом свете ещё привлекательнее, чем накануне вечером. Они прямо-таки манили! И подарки были уже тут...

Но ожидание праздника всегда приятнее самого праздника...

Через час – полтора мы все садились за утренний чай, подарки распаковывались, потом мама со мной гуляла, а потом, после непродолжительного обеда, уже совершенно не торжественного, родители уезжали к себе, оставляя меня с бабушкой и дедушкой. И вот здесь мамина спина перечёркивала все предыдущие новогодние радости.

Мама всегда была красивой, от неё всегда хорошо пахло, она всегда прекрасно улыбалась и... уходила.

Наша квартирка на Октябрьской улице была очень мала даже для нас троих – бабушки, дедушки и меня. Крохотная кухня, три спальных места в комнатах, одно единственное кресло перед телевизором... Здесь никто нигде не мог побыть один, в тишине и покое. Таким образом, традиционные новогодние застолья были в тягость ещё и потому, что все были вынуждены пребывать друг у друга на виду целые сутки. Рано или поздно это начинает нервировать. А тут ещё и бабушкины наставления, которые отовсюду слышны.

Бедная мама, бедная я!..

Но бабушка не представляла себе Новый год по-другому. Хоть бы раз она сказала маме: «Не приезжай! Ведь тебе хочется справить Новый год со своими подругами, с Павлом. Не приезжай на Октябрьскую. И Верушу заведи с собой, если хочешь».

Бабушка ни разу за 15 лет ничего подобного не сказала и, наверное, даже не подумала.

Мой шестнадцатый Новый год я выпросила у мамы и очередного отчима (я тогда жила с мамой на Шипиловской улице): я справляла его с Денисом и Никитой на квартире у Никиты (мы все были одноклассниками). Делалось это в строжайшей от нашей бабушки тайне. Если бы она узнала о подобных вольностях – прокляла бы нас обеих, меня и маму. Мама тоже не поехала в тот год к родителям, сказав, что смертельно устала на работе и остаётся дома в компании дочери.

Впервые за свои 37 лет мама решила оказать сопротивление, правда, прикрывшись враньём.

Кукла Роза

От нашей Октябрьской улицы до центрального «Детского Мира» на Лубянке можно было спокойно пройти за час пешком – через Самотёчную и Трубную площади. А там и до Красной площади рукой было подать. Но я почему-то не помню, чтобы кто-то, хотя бы изредка, совершал со мной подобные прогулки. То ли никому не хотелось, то ли не считали нужным в принципе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.